

Борис  
Васильев



ЗАВТРА БЫЛА  
ВОЙНА

Неопалимая Купина

Суд да дело

и другие рассказы  
о войне и победе



*Б. Васильев*

**Борис Львович Васильев**  
**Суд да дело**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=418462](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=418462)*

*Завтра была война. Повести и рассказы: АСТ; Москва; 2010*

*ISBN 978-5-17-063440-8, 978-5-271-26017-9*

# Содержание

Скулов	4
Следователь	11
Сны	20
Адвокат	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Борис Васильев

## Суд да дело

### Скулов

– Двадцать восьмого сентября сего года гражданин Скулов Антон Филимонович, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, русский, ранее не судимый, участник войны, имеющий фронтovou инвалидность, проживающий в лично ему принадлежащем доме по Заовражной улице, семнадцать...

Монотонный приевшийся голос следователя гулко отдавался от каменных стен, забранного решеткой, навечно замазанного оконца, цементного пола и тяжелой, обитой железом двери, и Скулов привычно не воспринимал слов. Он неподвижно сидел на холодном, влитом в бетон железном стуле и думал о том, чтобы не качаться, хотя ему очень хотелось качаться взад и вперед в такт монотонному чтению. Так всегда качался тренер киевской футбольной команды «Динамо» Лобановский. А Скулов когда-то – давным-давно, ох как давно! – болел за киевлян и старался смотреть по телевизору все матчи. Но следователь раздражался, когда Скулов начинал раскачиваться, и Антон Филимонович не хотел огорчать его в последнее – он знал, что оно последнее, – свидание.

– ...выстрелом в упор из охотничьего ружья шестнадцатого калибра убил гражданина Вешнева Эдуарда Аркадьевича. Означенный гражданин Вешнев скончался на месте преступления.

Скончался означенный. А мог и не означенный: все они что-то орали тогда. А он стрелял четыре раза, и этот выстрел был последним. Только бы не закачаться. Почему же – означенный?

– Короче говоря, вы, Антон Филимонович, обвиняетесь в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств согласно статье сто три УК РСФСР. Осознаете?

– Где подписать?

– Да вы уже сознались в преступлении, сознались, потом подпишете. Я спрашиваю, осознаете ли всю тяжесть содеянного?

– Убил, не отрицаю.

Следователь был молод – первое серьезное дело! – не растерялся еще, не привык и возмутился:

– С олимпийским спокойствием, так, да? С олимпийским спокойствием!

– Не отрицаю, убил, – ясно, безо всяких интонаций повторил Скулов, но закачался.

– Ну, хорошо, прочитайте и распишитесь, – вяло вздохнул следователь. – Ему десять лет в решетку светит, а он знай себе качается.

Скулов подписал не читая. Расслышал слова, усилием за-

ставил себя замереть, а потому и ручку клал медленно, будто в кино.

– Упорный вы, гражданин Скулов, упорный. Принципиально не читаете, принципиально от защиты отказываетесь, а непохоже, чтобы осознали. – Следователь убрал все бумаги, завязал тесемки на папках, но уходить не торопился и конвой не вызывал. – Следствие закончено, но, признаюсь, сильно на вас удивляюсь, Антон Филимонович. Возраст у вас – аюшки, а если крутанут вам полную десятку, на что рассчитываете? Помереть в колонии? Глупо. Я с вами не как следователь, я по-человечески хочу, понимаете? У меня оба деда в войну погибли, я без стариков рос, может, потому психологически душа ваша для меня – терра инкогнита. Ну, застрелили, тяжкое преступление, но ведь сколько вариантов, а? Тут и превышение пределов необходимой обороны, статья сто пять, и состояние сильного нервного волнения, статья сто четыре, да и простая неосторожность – статья сто шесть, наконец; вы же все отмели. Все, и поволокли на себя чистую сто три: умышленное убийство. Зачем?

Зачем?.. Скулов задумался, в себя заглянул и не заметил, как опять закачался. Молодой следователь, энергичный, хороший, наверно, парень, а двух вещей никак понять не хочет. Во-первых, жить-то зачем? А что, во-вторых, он на суде скажет, если смягчать вздумают? А звучать будет так: три раза Скулов в воздух стрелял, четвертый – в него. В означенного. И если бы промахнулся, снова бы перезарядил, а все равно

бы в него. И тогда бы уж дуплетом. Тогда бы уж – залп. Вот на суде этот залп и гроыхнет, а следователь о статьях толкует.

– Это я вам, гражданин Скулов, к тому говорю, что если рассчитываете разжалобить, так не надейтесь. Все решают факты. Так что проникнитесь...

Проникнитесь. Нелепое слово. Проникновение – это понятно. Или – проникающее. Проникающее ранение... И чего ребенка тогда не взяли, чего испугались? Все-таки за могилой бы ухаживал, а так пропадет могилка. И место пропадет, не лежать ему рядом. А коли так – пусть побольше. Пусть полную катушку, как следователь выражается. Чтобы уйти и не вернуться.

А как же Аня?..

Скулов все сильнее и сильнее раскачивался на неподвижном стуле, уже не только не слушая, но ни слова не слыша, о чем там говорит следователь, а мечтая лишь, чтобы отпустил он его поскорее. Чтобы вернуться в свою камеру, сесть на табурет, качаться и вспоминать. Вспоминать об Ане, и о себе, и опять об Ане, все время об Ане, с первого дня, с первого часа их знакомства и до последнего мига ее жизни. Больше ничего не осталось: ни сожаления, ни жалости, ни страха – только эти воспоминания, в которые никто, ни один человек не мог проникнуть. Это было его царство, его земля обетованная, его бесконечная, каждый раз по-новому, по-особому проживаемая жизнь.

– ...Фронтоник, ордена вон. Это как понять все, Антон

Филимонович? Я постичь хочу вашу психологию: человек в войну жизни своей не щадил, а тут взял да и застрелил. Вы же за него, за этого парня, кровь проливали, а что получилось? Как мне понять? А я хочу понять, гражданин Скулов, хочу вникнуть: может, я что-то недоучитываю как следователь, недопонимаю как молодой работник. Подскажите, помогите. Себе не желаете, так хоть мне помогите...

«Помогите! Помогите!..» – это он кричал, и опять крик этот, стократно усиленный прожитым, ворвался в его память, выветив все до мельчайших подробностей. Мокрую весну, мокрый лес с вывороченными стволами, изломанными сучьями – марсианский какой-то лес без ветвей и листвы. И он – с перебитой ногой, которая волочилась за ним по перепаханной танками поляне... Нет, уже не волочилась: Аня отрезала ее ножом, чтобы не волочилась, потому что сама его волокла. «Миленький, потерпи, родименький, вот только через поляночку». А тут – минный налет, вой, скрежет, и ее теплое тело на нем, грудь к груди, лицо к лицу, будто в жаркой любви, а не в бою. «Не бойся, миленький, они мимо все, мимо...» И забилась вдруг, без вскрика забилась, молча приняв в себя все осколки, что им двоим немцы предназначили. И отяжелела, обмякла, а он кричал: «Ты что, сестренка, ты что?..» И сквозь гимнастерку, сквозь белье, сквозь грохот, и бой, и время, и судьбу – сквозь все до сегодняшнего мгновения кровь ее просочилась. Теплая, родная: он всем телом ощутил ее тогда и запомнил. И закричал: «Помогите!»



– не себе помощи прося – ей.

Помогли.

– ...Вернулись вы с боевыми заслугами, с тяжким ранением, только не домой вы вернулись, гражданин Скулов. А поехали из госпиталя в город Сызрань и жили там на вокзале, пока из тамошнего госпиталя не выписали вашу фронттовую подругу Ефремову Анну Свиридовну. И тут вы не к законной семье поехали, а вместе с гражданкой Ефремовой к ее брату в наш город. Да что это я вам вашу биографию рассказываю! Я просто понять хочу: любовь? А чего тогда с прежней женой не развелись? Почему с новой брак не зарегистрировали? Все вопросы. Столько в вашей жизни вопросов скопилось – пять лет разбираться надо. Ну, к примеру, почему же насчет брака, а?

Почему? Аня запретила, вот почему: «Не сироти детей, Тоша. Своих у нас не будет, знаешь, вырезанная я вся, а потому не сироти. Надоем, другую встретишь – слова не скажу: то – твоя воля. А дети не твоя воля, а твоя доля, Тошенька...» Вот потому и со старой не развелся, и с новой не расписался.

– ...Я официально своего коллегу уполномочил допросить вашу законную супругу по месту ее жительства для более полного освещения вашей характеристики. Но мне лично интересно знать, почему ваша законная жена тоже не ставила вопрос...

– Устал я, – резко сказал Скулов: невыносим ему был раз-

говор о жене, бывшей жене, хоть и законной. – Устал, нога мозжит, в камеру хочу.

– Я же понять пытался, – расстроено вздохнул следователь. – Последняя возможность...

И вызвал конвой.

# Следователь

– А вы что пьете? Ничего? Ну не может быть! Ну тогда бутылку шампанского, – сказал следователь, лихорадочно соображая, хватит ли у него денег. – Шампанское заморозьте!

Последние слова он прокричал на весь ресторан, с шиком, тут же быстро зыркнув на корреспондентку. Но корреспондентка рассеянно оглядывала зал, чуть приоткрыв пухлые подкрашенные губки. «Ох и целуется, поди! – восторженно подумал он. – Неужто в номер не пригласит? Говорить надо, говорить, чего замолк, дубина деревенская?..»

– С утомления даже врачи иногда рекомендуют. А вообще, конечно, в моей следственной практике алкоголь такая деталь, что...

Московская корреспондентка отодвинула стул и положила ногу на ногу. Широкая юбка, спадая тяжелыми складками, обтянула бедро; следователь поперхнулся: «Черт возьми, ну и ножки! А все-таки хорошо, что она в юбке. И юбка – как колокольчик. И блузка на ней – ну, сила, ну, приделась. Может, для встречи, для меня, может?.. Ну дурак буду, если такую упущу. Нет, говорить надо, рассказывать. Может, тот случай? Пикантно и с намеком».

– Да, алкоголь исключительно влияет на некоторые сферы, – откашлявшись, начал он. – Прошлой весной, к примеру, под Первое мая двое юнцов подпоили девушку и вос-

пользовались ее беспомощным состоянием.

– Ну и как же это они воспользовались? – лениво спросила корреспондентка.

– Как? Что значит – как? Изнасилование. Статья сто семнадцатая УК РСФСР.

– Что вы говорите! – Девушка улыбнулась, всплеснув руками. – Она долго отбивалась, пострадавшая невинность ваша?

– В том-то и дело, что алкоголь.

– Вся в синяках и платье в лоскуты?.. Тоже мне, следовательно. Да женщина бывает пьяной только тогда, когда сама этого хочет; эта аксиома вам известна?

Ленивый и в то же время покровительственный цинизм москвички больно бил по мужскому самолюбию, но следовательно никак не мог преодолеть провинциального комплекса, тихо потел, заранее мучился бессилием и изо всех сил боролся с желанием удрать. Он редко бывал в ресторанах, а если и случалось, то в тени, за спиной умелого организатора, ограничиваясь участием в пиршестве да платежах. Официант, исчезнув, не появлялся, и следовательно не знал, надо его звать или так положено; скатерть была мятой, в пятнах и крошках, и он гадал: в какой момент на это следует указать и не упустил ли он этот момент? Эти беспокойства рассеивали внимание, мешали сосредоточиться на том, ради чего он и пришел сюда, сковывали не только его самого, но и его язык, который вообще-то был неплохо подвешен.

– Может, чего желаете?

Это прозвучало так беспомощно, что гостья впервые посмотрела на него с мягким женским пониманием.

– Да не суетитесь вы, все нормально. Отдохнем, расслабитесь, и поговорим.

– Безусловно. – Он жалко улыбнулся, ненавидя себя за эту улыбку. – Знаете, переутомился. Целый день с убийцей. Ну, со Скуловым этим, который вас интересуется.

Корреспондентка положила ладонь на его руку.

– Все будет о'кей, верьте мне. И о Скулове поговорим, и об убийстве, и вообще.

«Вообще? Что – вообще? Намекает? А если болтает просто или манера такая?.. И что значит – расслабьтесь? Ведет себя будто старшая, а сама лет на десять младше. Не-ет, с такими ухо остро держать надо, а то враз дурака сделают...»

– Да не бойтесь вы меня. – Она словно читала его мысли. – Ну, хотите, я вами покомандую, пока вы в себя не придете? Годится?

– Годится, – с облегчением вздохнул он и осторожно промокнул платком взмокший лоб.

– Учтите, что я – корреспондент и поэтому всегда на работе. Следовательно, здесь пьем только соки и минералку. Шампанское – в номер, под него и поговорим. Танцуете?

– Вообще-то...

– Не вообще, а конкретно?

– Конкретно нет, – сказал следователь, хотя танцевать умел и любил, но боялся, что не то любил и не так умел.

– Не ревнуйте, когда меня начнут приглашать. – Она улыbnулась. – Меня всегда приглашают, чувствуют, что я – современная. А вы чувствуете?

– От вас флюиды, знаете... – Он опять промокнул лоб сложенным вчетверо платком: будто пресс-папье прокатил. – Как фонтан.

– Ого! – Она вскинула голову и прищурилась. – Кажется, помаленьку приходим в себя, а?

Наконец появился официант. Встряхнул скатерть, в который уж раз застилая ее наизнанку, что только увеличило количество пятен. Принес закуску, какая сыскалась, воду, шампанское, виноградный сок. Следовательно тотчас же налил его, пробормотал: «За наше знакомство!» – и поспешно выпил, надеясь исполнить рекомендацию московской гостьи и расслабиться. Сделать этого ему, однако, не удалось, но некую мертвую точку он все же преодолел, и вечер наконец-таки начался. Следовательно бормотал дежурные комплименты, промокал лоб и уговаривал выпить шампанское здесь.

– Ну надо же, а? За знакомство и вообще. А?

Корреспондентка смеялась, закидывая голову, и следовательно начинал судорожно вытирать пот. С каждой минутой его собеседница становилась все соблазнительнее, а когда начал играть оркестр, ее и в самом деле наперебой вытаскивали танцевать. Следовательно цепко смотрел, как ловко она скачет, пламенел еще больше и с надеждой поглядывал на шампанское, которое он гордо приказал заморозить и кото-

рое, естественно, никто замораживать не стал.

Все-таки она вытащила его на первом же «белом» танце. Он хорошо чувствовал ритм, но все время думал, как бы половчее дернуться, взмахнуть рукой или лихо прищелкнуть пальцами, и это лишало его естественности. Да еще на ногах гирями висели неуклюжие сапоги с суконным верхом и обрезиненной подошвой, давно именуемые «прощай молодость». Дома были вполне современные, но он же не думал утром, что угодит в ресторан; он шел в следственный изолятор, в сырые, холодные казематы с бетонными полами, от которых у него начинали отчаянно ныть застуженные на зимней рыбалке ноги. И он всегда надевал в тюрьму эти коты, и они спасали его, но скакать в них под современные ритмы оказалось совсем нелегко. Все сегодня было против него, все наваливалось, стесняло, осложняло и утяжеляло; иными словами, все обостряло и без того достаточно ощутимый им комплекс неполноценности. А партнерша то взлетала, как птица, то изгибалась, как змея, и широченная юбка металась, как парус на ветру.

– Ну все, сматываемся, – объявила она после этого бешеного танца. – На меня глаз положили, пора отрываться. Расплачивайтесь, и двинем.

Он не знал, полагается ему проверять счет или это не принято. Внутренне он физически ощущал, сколько у него денег и где они лежат, и до ужаса боялся, а вдруг не хватит. И косил глазами, когда официант бегал карандашиком по бу-

мажке, стремясь усесть итоговую сумму. А когда усек, вздохнул с облегчением.

– Перепрыгали, что ли? – удивилась гостья.

– Есть немного, – согласился он. – Все, знаете, дела. Практики танцевальной маловато.

На радостях он отвалил пятерку «на чай», а потом долго маялся, что много. И не столько ему было жалко денег, сколько совестно перед официантом, взгляд которого уловил, а уважения в нем не почувствовал. Да что там уважения: презрением облили, как из шланга. И он волок на себе это холуйское пренебрежение за чрезмерные чаевые, и ощущение потливого бессилия уже не покидало его. А тут еще приходилось подниматься по лестнице на шестой этаж, прятаться в углах и бесшумно перебегать по знакам опытной девицы, ибо горничные, талантливо рассаженные в пунктах наилучшей обзорности, из всех своих обязанностей с рвением исполняли лишь одну: следили, кто когда и с кем пришел в свой номер. И следовательно взмок и выдохся, пока мышью юркнул к корреспондентке.

– Идиотская у вас гостиница, – шепотом сказала она, беззвучно повернув ключ. – Все просматривается, как на стадионе.

Провела в комнату, усадила в кресло. Закрыв дверь в тамбур, осмелела и говорила почти нормальным голосом:

– Снимайте пиджак, галстук, а главное, расслабьтесь. Я только душ приму: перепрыгала.



Ловко выхватив что-то из шкафа, москвичка исчезла в ванной, откуда тотчас же послышался тугой шум душа. А следователь пиджак снять не решился, потому что носил подтяжки и считал, что показывать их неудобно. Галстук он все же ослабил и расстегнул промокший ворот рубашки, но облегчения не почувствовал, поскольку в голове в разных вариантах вертелась одна и та же мысль: ох, напрасно! «А вдруг нагишом выскочит? – уже почти с ужасом думалось ему. – Сама же сказала, что современная, знаем мы этих современных. Выйдет после душа в чем мама родила, хватанет шампанского, намекнет, а мне что делать?»

Следователь решил было немедленно уйти, пока хозяйка заманчиво повизгивала в ванной. Но успел только затянуть галстук, и тут вышла корреспондентка в коротком, отчаянной смелости халатике, в шлепанцах ив нейлоновом чепчике, с которого капала вода. На свежем, очень радостном лице ее не было никакой косметики, и поэтому вся она казалась куда моложе и куда недоступнее.

– Что это вы будто на приеме? – Она плюхнулась в кресло, нимало не заботясь, что полы халатика распахнулись. – Уф, обожаю ледяной душ! Сейчас выпьем, и вы расскажете это дельце с убийством допризывника в день проводов в армию.

– Ну нельзя сказать, что допризывника, и вовсе не в день проводов, и вообще окончательно решать будет суд, – забормотал он, стараясь не глядеть на белые колени. – Формально следствие закончено, но еще не закрыто, поскольку я еще не

оформил...

– Да будет вам, – безмятежно перебила она, стянула мокрый чепчик, тряхнула головой, рассыпая волосы по плечам. – Журналистику не сенсации интересуют, а проблемы, и моя первая крупная публикация должна быть взрывной.

– Но так же нельзя: рассказывать до завершения...

– Открывайте шампанское, Шерлок Холмс!

Он послушно открыл шампанское – слава богу, не облил ничего, – налил, чтобы пена поднялась шапкой, сказал: «За вас!» – а подумал: «Ну до чего же соблазнительная баба!»

– Ну? – нетерпеливо сказала она. – Давайте выпьем и – к рассказу. С подробностями и деталями.

– Успеем с деталями, – ненатурально засмеялся он. – За нашу встречу.

А сам думал: «Не так надо, не так! Надо на брудершафт предложить, губы ее поймать и рукой... А она – по морде. Может случиться такой вариант? Вполне. В Москве, поди, ни на какие брудершафты не пьют, уж забыли, как пить-то на этот брудершафт. Нет, говорить придется, а там видно будет, говорить...»

– И выстрелил в упор? – деловито выпытывала она. – Значит, из-за цветочка, который уходящий в армию Ромео хотел преподнести своей Джульетте, старик всадил в него пулю?

– Ну зачем же. Мотивы поступка потерпевшего не расследовались, и мы не можем утверждать...

– Но какая деталь: убийство из-за цветка. Потрясающе! И

– ни тени раскаяния?

– Возможно, он еще не осознает. – Следовательно стало неуютно. – Он до сих пор как бы в шоке. Качается, молчит.

– Шок! Скажете тоже. Хладнокровное убийство на почве собственнических интересов. Кулак ваш Скулов. Кулак новой формации.

Ни за что бы он ни слова не сказал ей, если бы не коленки!

– Ну, ну, успокойтесь, поцелуи оставим на завтра. Спасибо за пулевой материал и – до завтра. До завтра, мой Шерлок Холмс, вы поняли? Чао. Мимо дежурной – быстро и сосредоточенно. Ясно?

Дверь захлопнулась, щелкнул язычок замка. Следователь быстро и сосредоточенно прошел не только мимо дежурной, но и весь путь до собственного дома, ив голове у него празднично гремело: «Завтра! Завтра, завтра!..»

На другой день он явился ровнехонько в договоренное время, сунулся в номер, но дверь ему открыл совершенно незнакомый мужчина: корреспондентка вылетела в Москву утренним самолетом...

# СНЫ

Делопроизводство шло своими путями, Скулова никто не беспокоил, и он был почти счастлив. Сидеть ему не возбранялось, и он сидел, качаясь в свое удовольствие. Качался и думал постоянно об одном – об Ане, доводя себя в конце концов до снов наяву, до видений настолько четких и реальных, что уплывали стены, камера, тюрьма и само время поворачивало туда, куда он хотел его повернуть. Вот бы следователь удивился, узнав: ни разу еще родные его подопечному Антону Филимоновичу Скулову не привиделись – ни законная жена, ни законные дети. Только незаконная, одна незаконная, исключительно и постоянно – она, нерасписанная «фронтальная любовница», как про нее во всех жалобах писали, когда еще надеялись вернуть его с помощью парткомов, завкомов или милиции. Нерасписанная его Анна Свиридовна Ефремова, будто любовь расписать можно, вернуть можно или прогнать можно, если общественность такое решение примет.

– Слушай, Антон Филимонович, у тебя, оказывается, жена есть? Живет с двумя детьми в Саратовской области.

– Моя жена – Анна Ефремова, что в заводской поликлинике работает медицинской сестрой. И больше никого. Никого, понятно?

– погоди, товарищ Скулов, не лезь в бутылку. Ты – член

партии, я – твой секретарь, тобою же, между прочим, и выбранный. И приходит письмо. – Секретарь резко ударил ладонью по столу, папки подпрыгнули, чернильница: тогда принято было, чтоб чернильницы на партийных столах стояли. – «Помогите работнице нашей фабрики стахановке Нинель Павловне Скуловой вернуть мужа» – вот какое письмо. И ты мне объясни ситуацию, дорогой товарищ, помоги разобраться, а не бери на глотку.

«Помоги разобраться». Всю жизнь он эту просьбу слышал и никому не помогал: в чем разбираться-то? За что один человек другого любит? Ну как это объяснить? Вот за что не любит – это пожалуйста, это хоть сразу, хоть подумав, за что он свою законную не любит. А вот за что незаконную Аню любит, это никак невозможно объяснить. Это и объяснять-то грешно, ненужно, нескромно как-то. И тот морячок из победного сорок пятого, тот, без обеих ног, что на сызранском вокзале с ним рядом на тележке сам себя по земле перекачивал, обрубок-человек, полчеловека, тот сразу все понял. Тот все сообразил, без вопросов.

– Пофартило тебе, браток, поздравляю. Любовь – мотор, понял? Есть любовь – значит, есть мотор, значит, живешь еще, фронтовая душа!

– Знаешь, братишка, я в лицо-то могу ее не узнать. Скоро выписка, выйдет она, а я – мимо.

– Не бойсь, кореш, все устроим, – улыбнулся морячок. – Аня Ефремова, так? Ну все, первым к ней подкачу, а ты –

за мной, понял?

– Дело, – с облегчением заулыбался Скулов, в то время звавшийся просто Антоном среди наводнивших Сызрань инвалидов, хотя был постарше многих и войну закончил капитаном. – А дальше как? Ни кола ни двора, две шинели – весь достаток.

– Вот – главный вопрос, – вздохнул морячок-обрубок. – Но не бойсь, я – севастополец, понял?

Через три дня после этого вокзального разговора к несуразно длинному, с еще дореволюционной коридорной системой дому, что стоял за паровыми мельницами, двигалась странная процессия. Впереди с визгом и скрежетом ехал на роликовой тележке безногий черноморский морячок, а за ним вереницей тащились одноногие и однорукие, слепые и глухие, трясущиеся и скорбно молчащие, потерявшие способность говорить вместе с вырванным пулей языком. Скулова не было в этой инвалидной колонне: он торчал в госпитале, обмениваясь с Аней записками, лишенный возможности хоть раз увидеть ее, поскольку в женский госпиталь мужчины не допускались по настоятельному требованию искалеченных фронтовичек. Но простым и прекрасным было братство изуродованных войной совсем еще молодых людей.

– Ты не трогай нас, милиция, – сказал на первом же перекрестке морячок, поскольку шествие было сразу же остановлено. – Мы к Родионихе идем просить ее по-хорошему помочь сестренке-фронтовичке. Идем с нами, милиция, ежели

сомневаешься.

– Давай руку, земляк, – сказал милиционер.

Он взял морячка за руку и пошел посреди улицы, а морячок катился за ним на буксире. И остальные прибавили шагу, и вся эта инвалидная команда остановилась во дворе того длинного кирпичного несуразного дома, где коридорная система процветала еще при старом режиме. И сразу высыпали все жильцы, ибо обуглены были сердца тех лет.

– К тебе делегация, Родионова, – сказал милиционер известной кладбищенской нищенке, которую сам же не раз забирал в отделение за пьяные вопли и истерики.

Так сказал немолодой усталый милиционер, у которого было два ранения и четверо иждивенческих ртов и который уж столько лет не мог позволить себе не только выпить – лишнего куска хлеба позволить себе не мог. А вперед выкатился морячок... Как его звали?.. Забыл Скулов, как его звали. Выкатился этот морячок на своих роликах, кулаками отталкиваясь от родимой земли. Подкатился к нахмуренной, не успевшей в то утро прохмельиться Родионихе и глянул на нее снизу вверх, как на мать божию.

– Здравствуй, мать, – сказал. – Прости, что поклониться тебе не могу, но все равно прими ты поклон мой за муки твои. Двоих сынов отдала ты, солдатская мама, и подвиг твой никто не забудет. Но не ради этих справедливых слов пришли мы сегодня к тебе. Через неделю из госпиталя выписывается девушка-фронтовичка, а у нее в Сызрани ни уг-

ла, ни знакомых, а в кармане и рубля медяками не наскребешь: фронтовые санитарки, мать, за спасибо под пули лезли. И вот мы просим тебя, вот все мы, калеки, сыны твои, не заради Христа – за солдатское твое сердце просим пустить к себе нашу фронтовую сестренку Аню Ефремову.

Говорили потом, что такой истерики давно с Родионихой не случилось. Два часа билась, землю грызла, голосила, патлы на себе рвала, два часа ее соседки отпаивали. А милиционер «скорую» вызвал, будто и впрямь солдатская мать Родионова еще раз в один день две похоронки получила, как три года назад...

Скулов улыбался, качаясь в своей одиночке, и слезы текли по небритым щекам, а он и не знал, что они текут. Только сейчас, только убив человека, только пройдя допросы и засев в одиночной камере, он сыскал время оглянуться, по косточкам разобрать свою молодость и заплакать от счастья. Какая удивительная, какая чистая и счастливая судьба выпала на его долю, столкнув с фронтом и Аней, с Аней и фронтовиками, с братством и Аней, с Аней и дружбой, с любовью и Аней, верностью и Аней, радостью и Аней. Да что они понимают сегодня о счастье, эти молодые? Счастье набраться? Переспать? Накуриться до одури? Штаны с наклейкой приобрести? Деньжат урвать побольше?.. Да разве это счастье, бедные вы люди! Счастье – это из боя живым выйти, молча, плечом к плечу с теми покурить, кто рядом был в том бою. Счастье законной своей фронтовой выпить без слов, тех по-



мянув, которые из боя не вышли, на которых тебе похоронки писать и чью долю ты и пьешь за помин их душ. Счастье – хлеба сухого кусок, когда не жрал трое суток, когда уж не голод, не боль, когда тоска в животе, по живому тоска, по себе самому, потому что живот твой от тебя тайком тебя же и переваривает. А ты ему – хлебушка, туда, в нутро, в тоску сосущую, в чрево свое, да не сразу, не давясь, а пожевать сперва, ощущением еды каждую клеточку согреть, и проглотить не спеша, и ждать, пока он идет, этот кусок, по горлу, по пищеводу в тебя идет, как подмога, как боевая помощь идет. Счастье – воды полкотелка, когда день на жаре под бомбежкой пролежал мордой в сухую землю, которую грыз от ужаса, в которую лез, ногти до крови срывая. И ком в глотке стоял такой, будто ежа проволочного в тебя вбили да еще и солью присыпали, и не глотается уже, и дерет гортань, и потеть нечем, кроме как солью одной, и соль эта коростой на плечах твоих и на груди. И вот тогда – полкотелка. Меньше нельзя, жажды не уймешь, и больше нельзя – вырвет тебя, желчью вывернет вместе с той пылью и гарью, что глотал ты, когда «юнкерсы» полосовали тебя и вдоль, и поперек, и без перерыва. Ах ты, водичка ты моя фронтовая, пополам с кровью, с порохом, с чадом, с пылью и слезами солдатскими. И пьешь ты ее, сперва задыхаясь, булькая, гукая, со стоном пьешь такими глотками, что болью в голове отдает. А потом отдышишься, передохнешь и остаток медленно цедишь, как вино, как самый дорогой коньяк, или что там еще вроде это-

го. И пьянеешь от этой воды – вот счастье...

Улыбался Скулов, раскачиваясь в свое удовольствие и по-прежнему не замечая слез, что путались в тюремной его небритости. Он имел право и на улыбку, и на слезы, потому что был счастлив. Всеми чувствами, которые только есть у человека, всеми был счастлив одновременно, и каждое чувство в отдельности счастливо было. Был счастлив. Это ведь мало кто про себя сказать может, а он и не говорил даже: он твердо знал, что был счастлив.

Загрохотали дверью, залязгали железом, и Скулов опомнился. Встал торопливо, руками отер лицо и в дверь взглядом уперся. Она открылась без скрипа, и вошел хмурый сержант – выводящий. Скулов знал его: сержант не раз сопровождал на допросы, и почему-то был уверен, что сержант добрый и отзывчивый, а хмурится, потому что такая должность.

– Адвокат тебя требует.

– Я отказываюсь от защиты.

– Положено, раз требует. Мое дело – отвести да назад привести.

Гулко залязгало, загремело железо, и Скулов – руки назад – медленно побрел, скрипя протезом, длиннющими коридорами старого тюремного здания, крыло которого использовалось под следственный изолятор. Дорога эта была знакома ему до мелочей, до выщербленки в плитах пола, и он давно уже привык думать не о ней и не о том, куда и зачем его ве-

дут, а о себе. О своем ушедшем, в которое стремился каждое мгновение, даже во сне стремился.

Да, так о счастье. Оно началось в тот день, когда они с морячком-коротышкой ждали в вестибюле госпиталя, откуда Скулов столько дней передавал передачи и записки. Ждать ответов всегда приходилось долго: то ли нянечки не спешили, то ли сама Аня. Она писала очень мало – одну-две строчки, всегда на «вы» и всегда так, будто и не знает, кто такой Скулов, почему он ей носит передачи и должна ли она принимать их и отвечать ему. Об этом он сбивчиво – волновался тогда так, как ни в одном бою не волновался! – рассказывал морячку-севастопольцу... господи, как же все-таки звали-то его?.. когда открылась дверь и вышла госпитальная нянечка с девочкой-подростком в платочке и больничном бумазеевом халате. Он мельком глянул: нянечка была незнакомой, девочка – тем более, и продолжал говорить...

– Кто тут за Ефремовой? – громко спросила нянечка, оглядываясь. – Говорили, будто муж встречается.

– Ты?.. – Он обогнал инвалида на каталке, держал Аню за маленькие, худые-худые руки и громко кричал: – Это ты? Ты?..

Аня смотрела в упор огромными глазами, из которых безостановочно текли слезы, и робко, но настойчиво тянула свои руки из его лапищ. А он не отпускал, зачем-то все время встряхивал их и твердил:

– Да, да, это я за Ефремовой, я, Скулов Антон Филимо-

нович, муж, значит...

Он вел Аню через город, а вот ехал ли за ними морячок на своей тележке, не мог вспомнить, как ни пытался. Помнил отчетливо, до цветочков помнил многократно стираный госпитальный халат, который был Ане так велик, что она почти дважды в него заворачивалась, и полы сходились на спине. Помнил белую косыночку на стриженной голове и маленький узелок с жалкими пожитками, который Аня всю дорогу бережно прижимала к животу двумя руками. Помнил, как высыпали во двор несуразного того дома женщины, как целовали они Аню, как кричали и плакали, потому что не было в том дворе семьи, у которой война не выбила или не искалечила саму надежду ее, смысл, ради чего она создавалась, символ любви и жизни – ее детей. А Аня стояла как закаменевшая, ничего не понимая и пугаясь, и он постарался увести ее поскорее в комнату, где торжественно ждала Родиониха, но и там – со стуком и без стука – то и дело распахивалась дверь, и темные, в сорок лет состарившиеся женщины несли израненной девчонке все, чем богаты были: платьишки, оставшиеся от уже выросших или уже погибших дочерей, старые туфли, кофты, платки, теплые рейтузы, чудом не проеденные шелковые комбинации, которые сберегали для так и не вернувшихся мужей. Дареное складывалось на кровать, все целовали Аню, уважительно жали руку Скулову и тотчас же уходили, чтоб не мешать чужому счастью, чтоб не бросить ненароком тень своего черного горя на этих

двух уцелевших. Ах, люди, люди, как же вы радовались нашей радости...

Остановился Скулов.

– Чего встал? – строго спросил конвоир. – Давай вперед, не положено тебе останавливаться.

Слезами, как пленкой, глаза застлало, поэтому он и остановился: руки за спиной, не утреешься. Но сержанту объяснять ничего не хотелось, и, кое-как проморгавшись, Скулов снова побрел по гулким лестницам, с трудом различая ступени. Шел медленно, надеясь, что слезы просохнут и что войдет он к адвокату без всяких следов слабости, хотя и не слабость это вовсе была, а, наоборот, сила, единственная сила, лично ему принадлежащая, и какое им всем дело, что выражается она в слезах. Так он думал, пока не остановился перед дверью камеры, где обычно допросы снимали; глаза к этому времени просохли и проморгались, он вошел и... Вот не думал, что способен еще чему-то удивляться, такое повидав, такое совершив и столько отсидев: адвокат показался знакомым. Если уж честно, Скулов вообще не хотел, чтоб его кто-то защищал, но воспринимал это как должное: положено по закону, и все, и...

– ...Я буду осуществлять вашу защиту.

К тому времени конвойный ушел, адвокат представился, Скулов на стул сел, в пол влитый на веки вечные, и даже чуть покачался, но в меру, себя контролируя. Адвокат что-то говорил, но до Скулова ничего не доходило, кроме последней

фразы насчет защиты. Тут он как бы очнулся, вынырнул, что ли, и впервые внимательно разглядел своего защитника.

За столом сидел рыхлый, задыхающийся даже в разговоре его возраста мужчина в толстых притемненных очках на крючковатом мясистом носу, в аккуратно отглаженном, далеко не новом костюме, с остатками некогда буйных, а теперь реденьких и совершенно белых волос на круглой голове с большими обвислыми ушами. Перед ним лежали выписки из «дела» – много листков, клочков каких-то, – которые он медленно переворачивал, просматривая и задавая вопросы. Вопросы касались деталей, мелких обстоятельств, и Скулов отвечал не задумываясь, потому что как уперся в защитника взглядом, так и не отрывал этого взгляда. Не от самого рыхлого мужчины, а от его немодного, залоснившегося на локтях пиджака, на котором в три ряда шли орденские планки. И Скулов, привычно скользнув взглядом влево от медали за участие в Великой Отечественной войне, безошибочно определил орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и одну – «За боевые заслуги» – «забезе», как говорили на фронте, и понял, что перед ним – солдат.

– Уточнили, – сказал адвокат. – Это, следовательно, мы уточнили.

Он снял очки, задумчиво постучал ими по страницам своих заметок, и Скулова поразили глаза: без ресниц, с огромными, навывкате белками, в красных прожилках и с таким тоскливым, как бы внутрь, в себя обращенным взглядом, что

у Скулова екнуло сердце: «Что же ты, фронтовичок, братишка, и тебе, видать, несладко выходит?»

– Скажите мне, Скулов, скажите, бога ради, откровенно – очень мне правда нужна, понимаете? – скажите, почему вы выстрелили в человека?

Скулов упорно смотрел на планки, на рыхлую, задыхающуюся солдатскую грудь, которая прикрыла Родину сорок лет назад, рядом с ним прикрыла, с безногим морячком... господи, да как же звали-то его?.. рядом с Аней, и, может, у него тоже своя Аня была, которая, плача в голос от страха и слабости, выволакивала его на себе под сплошным перекрестным, трижды проклятым огнем. А теперь он правды от него, от Скулова, требует, и не «за так», поди: кто тут «за так» – то надсаживается, в тюрьге этой?.. И сказал грубо, с вызовом:

– Правду тебе? Так на мне не зарабатываешь, вот и вся правда.

– Я сюда не за деньгами хожу.

– Брось заливать, солдат! Кто упал, с того сперва семь шкур дерут, а уж потом топчут, покуда не надоест.

– Да нет, знаете, у нас лежачего не бьют, – с обидой сказал адвокат.

«Лежачего не бьют!..» – вспыхнуло вдруг в Скулове – то ли в голове, то ли в сердце; жарко стало, нестерпимо жарко от стыда, как от пламени. «Лежачего не бьют» – так говорил его, Скулова, защитник на том, старом, давно прошед-

шем процессе, когда он работал директором рынка и его ловко подвели под монастырь. И адвокат – вот этот же самый, теперь-то Антон Филимонович узнал его точно, хоть и изменился тот неузнаваемо. Да, это был он, он; «лежачего не бьют» все говорил и отстоял его, Скулова, доказав, что виною доверчивость бывшего директора, а не преступная корысть. Он! Как же раньше-то Скулов его не узнал, как посмел, позволил себе не узнать?!



# Адвокат

Угадал Скулов: была у адвоката своя Аня, которую звали Беллой. Она служила, правда, не санитаркой, а радисткой, познакомились они в Берлине за неделю до Победы и вернулись на родину мужем и женой. Родные Беллы – все до единого – погибли в Бабьем Яру, у него – во рвах Краснодара; специальности не было, угла не было, вещей не было, денег не было, и даже образование и у одного, и у другого было прервано войной. И Белла сказала:

– Я пойду в дворники, и мы получим комнату. Я буду мыть подъезды, а ты сможешь учиться.

– Почему я, а не ты? Объясни, почему именно я? Нет, учиться пойдешь ты, а я пойду на завод...

– Не спорь, я уже решила. Только обещаю, что будешь адвокатом, ведь ты так красиво говоришь. Ой, эти твои слова... Я на минуточку развесила уши и так и не заметила, как это мы очутились в кустах. Нет, знаешь, кто ты? Ты – Цицерон, и ты пойдешь учиться!

Так и случилось: она чистила улицы, а он учился на Цицерона. Тогда еще не было сына Володи, а была полуподвальная комната, заваленный книгами канцелярский стол, выпрошенный Беллой в домоуправлении, да огромный пружинный матрас на кирпичах, на котором он каждое утро просыпался один, слушая, как где-то совсем рядом, над го-

ловой, шваркает об асфальт ее метла. Он всегда завтракал в одиночестве и бежал в институт, а звук метлы слышался ему постоянно, и поэтому он учился изо всех сил. Да и вся его группа, ходившая в офицерских кителях или солдатских гимнастерках с нашивками за ранения, переросла студенческие годы не возрастом, а фронтом и потому занималась очень старательно. А вскоре он закончил, получил назначение в этот городок, был принят в аспирантуру, Белла родила сына, и началось такое долгожданное, такое выстраданное счастье.

Уважаемый человек, фронтовик, известный адвокат. Уважаемая работница ткацкой фабрики, бригадир лучшей бригады, награжденная за работу орденом, депутат районного Совета. Молодой инженер той же фабрики, с блеском окончивший московский институт, красивый парень, мечта многих – и не только фабричных – девчат. Ну и о чем же прикажете мечтать? И вся мечта лопнула, как мыльный пузырь.

– Дорогие мои родители, я очень надеюсь, что вы поймете меня. Я вас бесконечно люблю, я горжусь вами, я вам всем обязан, но я, увы, вырос. Пришла моя пора, я должен устраивать свою жизнь.

– Ты собрался жениться? – радостно спросила Белла.

А вот он и не подумал о женитьбе сына: женитьба не требует таких преамбул. Кажется, вот тогда-то у него впервые сжало сердце, а заболело не оно, а спина. Под лопаткой.

– Я решил уехать. От вас требуется письменное подтвер-

ждение, что...

Он до сей поры помнил, как на глазах в считанные секунды изменилась его жена. Из веселой, способной и в пенсионном возрасте хохотать до слез, уверенной в себе, семье и друзьях женщины она превратилась в сутулую, носатую старуху. Будто выпустили воздух... Нет, не воздух из нее выпустили – из нее жизнь вынули. Душу ее бессмертную.

– Уверяю вас, это не легкомыслие, не порыв...

Господи, какой старой, какой дряхлой стала его Белла! Она вдруг все забыла: детство, школу, фронт, работу, награды, уважение и почет. Она запричитала с такими интонациями, что он вынужден был закричать. Впервые в жизни закричать на свою Беллу. И когда она замолчала, сказал почти спокойно:

– Ни я, ни моя супруга не имеем к тебе никаких имущественных, финансовых и прочих претензий.

Что было потом? Слезы, уговоры, ссоры, объяснения. Потом подошел срок депутатских полномочий, и Белла отказалась баллотироваться, сославшись на здоровье. Потом – отъезд сына, инфаркт отца и пенсия матери. Спасибо врачам: вытащили.

– Нет, все, все. Мы получили большое спасибо от сына, чего ты еще ждешь? Еще одного инфаркта и венка от Совета ветеранов? Ну так послушай меня, как слушал всегда, и оставь адвокатскую практику.

– Но ты же называла меня Цицероном. Или ты всю жизнь

шутила?

– Это не я шутила всю жизнь. Это жизнь шутит всю жизнь.

Он понимал, что жена права, что за его старой, совсем согнувшейся спиной нетерпеливо перебирает копытами новая смена в лице молодого стажера, мечтающего о его практике и его славе. Он понимал, что теперь его держат на плаву только тяжелые солдатские медали, понимал, что любая оплошность, любой срыв могут перевесить чашу весов, и тогда ему не помогут даже фронтовые ранения: пенсионный возраст есть пенсионный возраст. Он все понимал прекрасно и удивлялся, что друзья и жена не понимают главного. Самого основного не понимают: он шел в адвокатуру не за гонорарами, не за славой, не ради самоутверждения и даже не потому, что так хотелось Белле. От природы он был застенчив, и никакая тренировка, никакая профессиональная выучка ничего поделать не могли: он говорил скверно, скучно, слушать его не любили, но у него всегда было чувство исполненного долга. Он говорил за тех, кто не мог говорить, не мог строго логически вычерчивать линию собственной защиты, не мог искать следствий у причин и причин у следствий: их голосом, их логикой, их криком о спасении был он, и взгляд из-за барьера, с той скамьи был для него дороже его адвокатского гонорара. Он сам выбрал продолжение своей юности, сделав свою жизнь борьбой во имя справедливости, а каждый процесс – боем за справедливость, и поэтому избегал громких дел, предпочитая скромные гражданские иски, разделы

имуществ, мелкие, идущие от доверчивости или ротозейства растраты. Здесь судьба обрушивалась на безвинных или просто слабых, и он был той единственной опорой, которая не позволяла покачнувшемуся упасть. И, перестрадав и переболев, он ничего не стал менять в своей судьбе, по-прежнему скрипучим голосом доказывая правоту доверчивых девчонок, оскорбленных стариков или разобиженных старух.

– Я понимаю, ты хочешь умереть стоя, – вздыхала Белла – старая, сварливая, разучившаяся готовить его Белла. – Все хотят умереть стоя, но скольких валят благодарные сыновья. И тебя свалят тоже, верь мне, как верил всегда. В нашем возрасте лучше всего давать советы. Сидеть себе в консультации за столом, давать советы и выписывать квитанции.

– Да, да, ты права, ты абсолютно права, Беллочка, но я еще поработаю именно так, как столько лет работал. Еще чуть, полгодика.

Он знал дело Скулова, но не хотел браться за него. Во-первых, не его это был профиль, а во-вторых, уж больно шумели в городе, спорили, обсуждали, негодовали. Но что-то засело в нем, что-то не давало покоя, что-то, как заноза в ладони, все время напоминало: Скулов. Лет десять, а то и все пятнадцать назад этот самый Скулов был директором рынка, и на него накрутили такое, что греметь бы этому Скулову за решетку, если бы не усилия защиты. Он со стажером провел собственное следствие, обнаружил дополнительные факты, свидетелей и такие документы, что суд освободил Скулова

из-под стражи в зале суда за отсутствием состава преступления. Но не из-за того Скулов сидел в нем занозой, что когда-то был его подзащитным, совсем не из-за того. И он думал о Скулове и об убийстве, много думал, а потом вдруг взял его дело по первому предложению суда.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.